

Нет автора

Женский журнал

№7, 1928

УДК 745/749
ББК 85.12
Н57

Н57 **Нет автора**
Женский журнал: №7, 1928 / Нет автора – М.: Книга по Требованию, 2021. – 46 с.

ISBN 978-5-458-69196-3

Ежемесячный "Женский журнал" выходил в 1926-1930 гг. В этом издании печатались статьи на "женские темы", где женщин учили бережно относиться к своей внешности, телу, здоровью; несколько страниц посвящалось моде.

ISBN 978-5-458-69196-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

— Гражданскую войну, — говорит она, — провела я на фронте. Муж мой работал в главном восстановительном железнодорожном отряде, а я в культотделе. В 1923 году домашние хозяйки выбрали меня в лавочную комиссию. Кроме того, я стала завещать детским садом и детской площадкой своего района. С 1926 года я работаю в торгово-кооперативной секции, и меня прозвали «спецом по спекулянтам». Помню, как на обследовательской работе с товарищем Никитиной мы контролировали частников. Всероссийский Текстильный Синдикат отпускал частникам мануфактуру, обязав их продавать населению с накидкой не выше 10%, и не больше 10 метров в одни руки. В действительности же, накладки иногда превышали 100%, а вечером, на квартире у спекулянта, товар можно было получать целыми кусками. Вот тут-то их и надо было накрыть. Ты хитра, а они еще хитрее. Однако, удалось и им точку поставить. Теперь вот борюсь с неправильным получением товаров. До десяти раз иной спекулянт, не имеющий никакого отношения к кооперативу, мануфактуру получает. К стыду нашему нужно сказать, сами пайщики этому виновны. Передают свои книжки другим, а потом на бобах сидят. Спекулянты у меня на учете. Я их не люблю, и они меня тоже. Недавно по злобе на меня, пальто мне краской облили, и не устают грозить. Пусть грозят, я их не боюсь. Делаю свое дело — и все.

Товарищ Страншкова в партии состоит с 1924 года. Организация домашних хозяек Таганского района выбрала ее в лавочную комиссию, потом в делегатки. С 1926 года работает она в продуктовой подсекции.

— Мясо, рыба, зелень, хлеб — вот те предметы, с которыми мне приходится иметь дело. Слежу за тем, чтобы мясо лежало отдельно по сортам, чтобы хозяйке второй сорт не отпущался вместо первого, чтобы хлеб был выпечен, чтобы нож был чист и вода в калке не застаивалась бы по неделям без перемены. Проверяю членские книжки, срок их выдачи, правильность расчета с покупателями. Работать приходится много. Кооперация — дело важное.

* * *

Конечно, можно было бы еще и еще писать. Но главное — написано.

Эти четыре женщины говорят о себе. Их голос — голос проснувшегося многомиллионного женского актива. Строя кооперацию, они строят хозяйство своей страны и отдают свои силы для его укрепления.

Марина Санд.

ВСТРЕЧА

Девическая, детская
Невинная краса,
Причесочка простецкая
И тонкая коса.

Слеза невольно скатится,
Лишь вспомню ночь, крыльцо...
О, ситцевое платьице,
О, медное кольцо.

Расстались. Годы трудные
Меня сгибали в рог,
Но эти ночки чудные
Я позабыть не мог.

И вот случилось — встретились.
Шумел ночной бульвар,
Мои глаза приметили:
Ты вышла на базар.

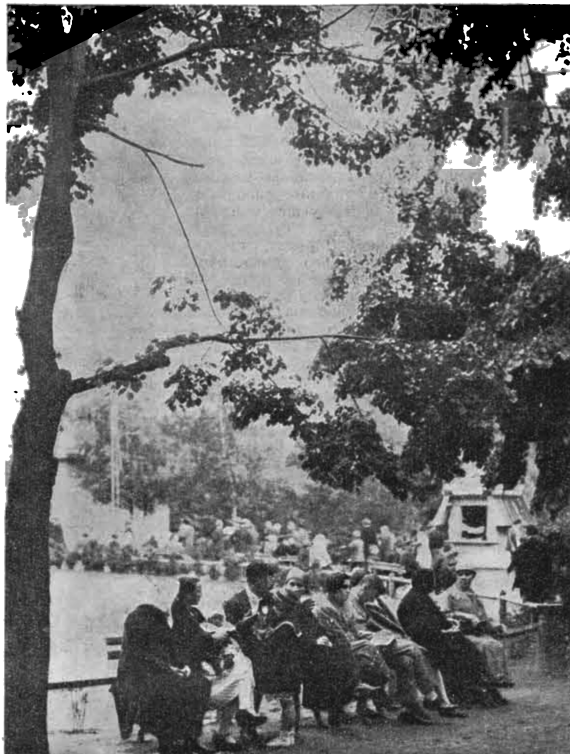
Я пел: ты продажная,
Любовь — мечта, обман...
Уж очень шляпка важная,
И слинком рот румян.

Глядел глазами дикими
На чудное лицо,
И вспомнил сад с гвоздиками
И лунное крыльцо.

В ту ночь уж мне не спалось,
Я много выпил зря,
В глазах цвела, качалась
Далекая зоря.

В. Кириллов.

В ЛИСТВЕ...



Фот. С. Фридина.

КАКИЕ ДОМА НАМ НАДО СТРОИТЬ

БЫСТРЫЙ рост жилищного строительства за последние годы выдвинул перед заинтересованными организациями и самими застройщиками вопросы: из чего строить дома, какие строить дома — одноэтажные или многоэтажные.

Вопрос же выбора материала длястройки домов, в особенности в больших промышленных городах, за последнее время является чрезвычайно острым и наиболее важным, так как существующие кирпичные заводы не могут удовлетворить развернувшееся строительство.

Достаточно указать на Москву, где на 1928 год нехватает для полного удовлетворения плана больше 100 млн. шт. кирпича, привоз же из дальних мест крайне удорожает его стоимость и мешает удешевлению постройки.

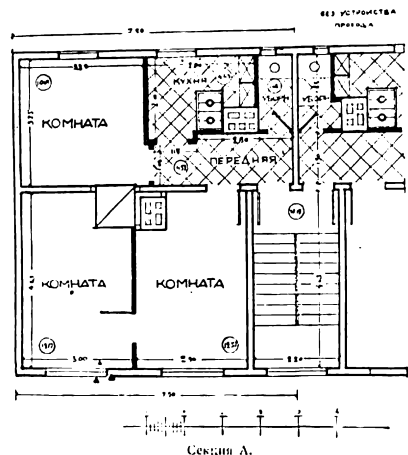
Поэтому заинтересованные ведомства и жилищная кооперация изыскивают, кроме дерева и кирпича, другие материалы: теплый бетон по системе германского инженера Коссель, торфанеру, шлакобетонные пустотелые камни. Московские строители пробуют на практике ценность этих материалов, и все же задачи жилищного строительства еще не разрешены.

Вопрос планировки квартир и их благоустройство с учетом бытовых условий играет также немаловажную роль. В дореволюционное время домовладельцы при постройке дома с эксплуатационной целью мало учитывали социальные и бытовые нужды будущих жильцов. Не так обстоит дело в настоящее время. Всем организациям поставлено в обязанность считаться с удобствами будущих жильцов.

Кроме обязательного сквозного проветривания и наибольшего использования дневного



Дом жил.-стр. кооператива рабочих авто-завода ДУКС (Москва).



Секция А.

света, требуется соблюдение целого ряда санитарно-гигиенических мер.

Поэтому очень важно, как расположить комнату, кухню, уборную, чтобы соблюсти установленные строительные нормы в отношении жилой площади к полезной и т. д., не удорожая строительства, и в то же время удовлетворить вкусы и требования застройщика.

Особенно заинтересована домашняя хозяйка в удобном расположении в кухне плиты, чулана, мусорного канала, раковины, ванны, окна, освещающего кухню и т. п., чтобы при работе в кухне можно было бы иметь все под руками без особой затраты времени и сил.

Все затронутые вопросы являются основными моментами при проектировке и постройке новых жилищ.

Центрожилсоюз (Центральное Правление Союза Жилкооперации РСФСР) поставил себе задачу выработки целой серии типовых квартир. Эти типовые квартиры-секции составились с учетом всех требований, предъявляемых к нынешнему жилищному строительству. В этой работе удалось достичь весьма удовлетворительных результатов.

В этом номере мы дадим на рассмотрение домашним хозяйкам один тип квартир-секций А.

Секция А — составлена из деревянного 2-этажного здания на 8 квартир при 30 м длины и 8,5 м ширины. Тип квартиры взят трехкомнатный при теплом люфте-клозете и печном отоплении. Кухня (площ. 4,43 кв. м) обслуживается плитой на две конфорки, с духовым шкафом, водогрейной коробкой. Размер плиты 1,1 × 0,7 м.

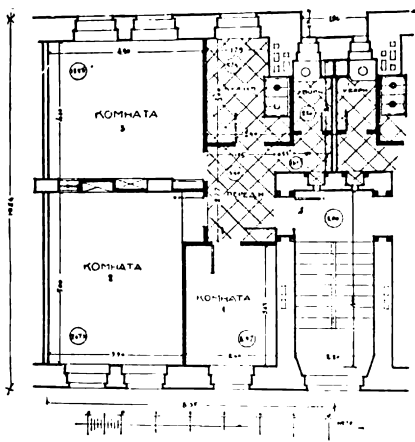
Топка плиты устроена с торцевой стороны. Таким образом, подход к плите получается с двух сторон. Вдоль стены у дымовой трубы устроены 2 шкафа для посуды, для провизии, при этом часть шкафа, примыкающая к наружной стене, может быть устроена как холодильник. В этой же части, близ трубы, могут быть сложены дрова в количестве, необходимом для топки печи.

Над дверью в кухню могут быть устроены над частью средней палаты для склада вещей. Секция Г — составлена для каменного здания от 2 до 4 этажей — на 8—16 квартир и разрешает планировку квартир в 3 комнаты при теплом люфт-клозете и центральном отоплении.

Кухня площадью 5,73 кв. м обслуживается плитой — размерами по предыдущему. Подоконник предполагается устроить как кухонный стол — и шкаф предполагается устроить под этим столом (с 2 полками). Помещение для вещей предполагается устроить в первом проходе и уборную, здесь же в стене могут быть устроены шкафы и ванна.

Однако, было бы неверным, если данные типы не подвергались общественной критике и особенно со стороны самих хозяек, которым больше всего приходится чувствовать на себе все ошибки, допущенные в данном вопросе. Воспроизводя наиболее характерные типы квартир-секций, было бы очень жаль, если бы в следующих номерах журнала были даны бытовые соответствующие замечания и новая критика.

Е. Гусак.



Секция Г.

ПОДПИСЧИКАМ
„ЖЕНСКОГО ЖУРНАЛА“

При получении воя емя очередного номера „Женского Журнала“ следует указать в своем почтовом отделеции, есть ли там КАР. СЧЕТКА на имя подписчицы. Если есть — требовать журнал там. Если нет — задрость контору, сообщив куда дана подписка, номер как адреса и свой точный адрес.



Вам предоставляется слово



ЖИВЕМ мы в нашем доме не то, чтобы очень скучно, и не то, чтобы очень весело. Коридоры у нас длинные, темные, с пугающими углами, и, навечно, пахнущие какими-то мистическими запахами... эти запахи по-разному определяют наши настроения. Но мы сами к ним уже — то есть к запахам — настолько привыкли, что совершенно ничего не чувствуем.

Дом наш — Большой, трехэтажный, похожий на старомодный сундук до-романовских времен. Окна снаружи пыльные, скучные, поглядывают на людей подслеповатыми старческими глазами, и люди, покосившись на наш дом, отворачиваются куда-нибудь в сторону.

Проживает в нашем доме население профессионально разнородное, в большинстве интеллигентных. По коридору налево от моей комнаты за дверью, обитой войлоком, засел скульптор-новатор, а рядом с ним продавец из галантерейного магазина с супругой — телефонисткой. Против — заведующая какими-то детскими яслями... Ну, и еще люди все такие же, ничем не знаменитые.

Тяжело нам жить в этом старом, темном доме. На целое столетие отстала его архитектура и все его благоустройство от нынешних новых железобетонных светлых, как фанеры, домов.

Однажды инженеру Курбатову, что живет на третьем этаже, пришла в голову мысль провести телефон в наш дом — в каждый коридор по аппарату с оплатой проводки и пользования по честному классному принципу. Все мы радостно согласились.

Не помню уж сейчас, какая сумма денег была собрана на телефонизацию нашего сумрачного убежища, но могу рассказать, какие события породила эта идея инженера Курбатова.

Вадим Перчик — секретарь нашего домоуправления — весьма аккуратно прошел по нашим комнатам с особой и по особому разнородной ведомостью, получивши все деньги, какие полагались для телефона. Мы каждое утро просыпались, глядели в коридор, как мать глядит на дорогу, ожидая любимого сына с поля брани. Мы трепетали... Мы представляли себе, как это будет хорошо, в совершенно удовлетворенной позе, прислонившись к стене и заложив ногу за ногу, поговорить о чем-нибудь со своим знакомым или родным, по телефону... Мы ждали. Не появлялся телефон на нашем коридоре, не появлялся нигде и в других коридорах, так что даже скульптор, который провозносил в присутствии посторонних полтора слова в неделю, громко и очень сердито при всех сказал:

— Это чорт знает, что такое.
А заведующая детскими яслями многозначительно усмехнулась, после чего продавец из галантерейного магазина произнес, такие слова:
— Удивляюсь и на вас, граждане, и очень удивляюсь. Денежки наши — ку-ку.

Он сдвинул жест рукой, как бы танцует сгаринный мэнэт, и скрылся в своей комнатке.
С того же дня наш дом зашелестел, как шелестят осенние листья, когда подымает их ветер. Буду откровенен — все мы до единой души подслеплись мутному объяснению слетни. Кто-то снизу донос, что жена товарища Перчика сшила себе малиново-красное платье с зеленой отделкой, кто-то рассказывал бабисто и восторженно, что председатель домо-

управления Карп Карпыч сжал на автомобиле с букетом роз в руках, кто-то черненький, маленький и хитренький, как муха, сказал, что инженер с третьего этажа — авантюристичей, как Сонька Золотая Ручка, и всю эту комедию с телефоном придумал для того только, чтобы выжать из честных людей трудовые деньги, и поделиться вместе с Перчиком и Карпом Карпычем.

Мы устало загрустили. Приноминались все обиды и беспорядки, которые переносили мы. Но зачем углубляться в наш быт, ежели одно только повествование о нашем коридоре может сделать человека сразу невравестником.

Отнюдь не рискуя критиковать художественных приемов моего соседа скульптора-новатора, скажу, что он выставил в коридоре столько пар своих калаш, сколько износил в течение всего революционного десятилетия. Калаша лежат горой, и когда проходишь мимо этой горы, какая-нибудь наиболее отвратительная калаша непременно сползает тебе под ноги. Рядом с горкой калаш стоит его неудавшаяся скульптурные произведения. Миновав эту отвратительную выставку, ползая пальто запутавшись в побрякушках старинной люстры неизвестно кому принадлежащей. Люстра заново всеми своими подвесками, а ты, отделившись от ее крючков, должен перебраться через пару складных кроватей, обходить сундук, почтительно сторониться покосившегося книжного шкафа и отворачиваться от детских сосудов...

Такая скука.
Благоустройство наших комнат, которые солидно называются «кухнями», описывать не стану, чтобы не портить людям аппетит.

И вот, к одной скромной и молодой жительнице нашего дома и в нашем же коридоре прибыл брат. Жительница та обучалась не высших сельскохозяйственных курсах, а брат ее стал работать где-то по специальности конструктора аэропланов. Появившись у нас, он вызвал волнение в наших сердцах. Проходя по коридору, свирепо разбрасывает сапогами калаша и притом совершенно громко и резко выражает свое отношение к этим калашам, к произведениям скульптора, к шкафам и складным кроватям. С каждым из нас делает попытки заговорить по поводу распылок в нашем доме, и — представляйте себе — интересуется судьбой телефона.

Но через три дня он нас убил. Он на видном месте наклеил объявление такого содержания:

«Прошу в течение трех дней убрать с коридоров все вещи. По истечении этого срока все уберу сам и сожгу».

Это не ударило нас громом. Это не перепугало нас, как землетрясение. Это совершенно не тронуло нас, ибо мы никаким ходом мысли не могли притти к такому заключению, что кто-нибудь сумеет хоть кусочек жизни изменить в нашем царстве.

А он, этот молодой человек, с руками тяжелыми и угловатыми, среб в корзину калаша моего соседа скульптора-новатора и стащил их вниз в котельную. Затем, жестами человека, который знает, что он делает, сложил в ящик художественные произведения скульптора и отволок их во двор в сорный ящик. Он сгребал пыльные коробки для шляп, какие-то ящики, стучался в двери к нам и бросал нам детские валеночки, старые сапоги, паровые утюги, горбатые самовары, он, утирая широкими ладонями пот, действовал как коварный и циничный разоручитель... как гунн.

Тогда мы все закричали. Мы впервые заговорили так громко, как никогда не говорили в коридоре нашего дома. Сначала мы доказывали неизвестному молодому человеку, что он угнетает нас, и как грабитель распоряжается нашим добром, но этот молодой человек нашел какие-то особые слова для нас, какие-то совершенно необыкновенные отсты, и мы вдруг стали обличать самих себя. Мы говорили скульптору, что его калаша мерзким ядом отравили нашу жизнь, и скульптор говорил, что наши сундуки, наши ящики сделали его существование несчастным... Мы много и откровенно и под конец совершенно мирно говорили в тот день.

На другой и на третий день мы утробно ворочали свои сундуки, мыли коридор, а потом пришла снизу женщина и впервые помыла просторные — паркетные, оказывается, — полы.

Этот новый человек не хотел нас оставить в покое. Когда были полы вымыты, и когда вечером двумя лампами был освещен наш обновленный и весьма симпатичный коридор, он позвал нас, попросил принести с собой стулья и устроил собрание. Удивительно смело и совершенно просто он сказал нам в глаза, что мы, по его мнению, нехорошо, недостойно сплетничаем, злобствуем и не умеем обновить быт своего старого темного дома, не умеем по-деловому взять в свои руки маленький кусочек своей жизни.

Он очень спокойно сказал: — Телефон... И потом, также просто — и признавая вам — очень хорошо, говорил о нашем домоуправлении, распустившимся, небрежном, бюрократичном. Он советовал требовать, настаивать, проверять и беспощадно, но честно критиковать не только действия секретаря правления Вадима Перчика, но и друг друга. Тогда-то и у нас нашлось, что сказать.

Славно мы поговорили. И когда наш председатель собрания, тот же самый молодой человек, зачитывал перед нами нашу резолюцию, то мы все громко аплодировали и не верили своим ушам — неужели же мы написали такую вещь?

Мы категорически требовали, мы «предупреждали», мы давали недельный срок своему домоуправлению, в который оно должно было поставить телефон в нашем коридоре.

А к вечеру техник ковырял стены в нашем коридоре и возился с телефонными проводами.

Снизу же со всех этажей много благодарили нас, все до одного в нашем доме говорили:

— Замечательные люди живут на четвертом этаже. Если бы не они, то...

* * *

И вот, когда на собрании жителей вашего дома разгорится большой, добросовестный, честный спор о переустройстве вашего быта, затхлого, темного, плесению покрытого, когда вы, уважаемая читательница, подымете руку и председатель скажет:

— Вам предоставляется слово — и вы станете говорить откровенно, смело, мужественно обо всем, что засоряет, отравляет вашу жизнь, не щадя ни любезной соседки, ни уважаемого председателя домоуправления. Когда вы научитесь критиковать, как умеют критиковать рабочие и крестьяне в нашей стране и проводить свои постановления в жизнь — тогда... тогда вы напишите нам, как преподает в вашем быту новый большой и общественный лозунг с а м о к р и т и к и.

И. Погодин.

ТОБЕЛЕН

МАРИИ АНТУАНЕТТЫ

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО



РОШЛИ гуськом последние посетители дворца-музея — полушубки, чуйки, ватные куртки.

Малиновое солнце склоняется за думы в зимнюю мглу. Северный день не долог.

Я еще вижу узоры на стеклах: высокие окна покрыты морозными листьями, как-будто воспоминанием о древних лесах, некогда шумевших на земле.

Узоры исчезают в голубоватых, серых сумерках. Вдали хлопает дверь. Отскрипели на тропинке валенки сторожа и наступает зимняя тишина во дворце и в снежном парке.

Иногда из страшной высоты луна посылает бледный свет в незанавешенное окно. Но это бывает редко, — бегут, бегут безнадёжные туманы над парком, посвистывает метель голыми ветвями. Холодно и пустынно. Я развлекаюсь, перебирая в памяти минувшие годы. Их много.

Иные озарены блеском празднеств, иные — страшны.



... и освободив правую руку, хлестнула директора по щеке.

Я не старею и не увядаю, как женщины, проходящие в моих воспоминаниях, как те две повелительницы народов, которым я принадлежала.

Я все также, как полтора года тому назад, прекрасна: на мне — высокий пудренный парик и пышное платье цвета кроки. Я нахожусь в большой гостиной, налево от входа, у окна.

В глубине, против света, над камином висит портрет моей хозяйки. Она изображена во весь рост, юная, гордая, слишком по-солдатски, прямая, — такой она была в первый год замужества.

Когда лунный свет поблескивает на золоченых креслах, я часто стараюсь взглянуть в ее лицо. Но глаза императрицы упрямо и зло отведены от меня. Она думала, что я причина всех ее несчастий: она мрачно суеверна как средневековая женщина.

Во всяком случае, президент сделал бестактность, привезя на броненосце в подарок русской императрице гобелен каменной французской королевы.

Меня вынули из цинкового ящика, принесли в эту гостиную, развернули и положили на ковер. Императрица, мало сведущая в искусстве, спросила: «Что это такое?» Она стояла передо мною, выпрямив, как гувернантка, грудь, стиснув на животе чисто вымытые, холодные пальцы. Толстенский Лубе, хрустя крахмальной фрачной рубашкой, с живейшей готовностью отвечал: «Ваше величество, это редчайший гобелен, изображающий портрет Марии Антуанетты. Случайно революция пощадила его. Франция приносит к вашим стопам одно из своих национальных сокровищ».

Тогда на увядающем лице царицы выступили мелунашнесь пятна; тонкие, как ниточка, губы поджалась в волевым движении — скрыть испуг. Но я прочла безумный ужас, на мигновение мелькнувший в ее голубых, круглых немецких глазах.

— «Почему она в красном платье?» — спросила императрица. На это президент ничего не мог ответить и только снова расшаркался, поскрипывая сапожками.

Меня повесили на стене у окна. Не помню, чтобы царица когда-либо останавливала на мне взгляд. Ее раздражало красное платье. В ее вкусе были блеклые, лиловые, бледные тона.

Мария Антуанетта тоже не могла терпеть ничего яркого; только нежное, успокаивающее.

Действительно, история этого красного цвета необычайна.

Полтора года тому назад в Париже проживала Елизавета Рох, девица удивительной красоты. Ее отец работал ткачом на королевской шпалерной фабрике и считался лучшим мастером во Франции. За сутки он мог соткать четверть дюйма, но зато линии рисунка и цвета были так подобраны, что его гобелены соперничали с живыми красками природы и даже превышали их.

Елизавета Рох, работавшая на фабрике с восьми лет, обладала столь же совершенным вкусом. Когда ей минуло двенадцать, ее перевели в отделение макетов, где она должна была из кусков шелка и шерсти воспроизводить с картины примерный макет, с которого ткался уже самый гобелен.

От природы Елизавета была пылкого характера, но поведения строгого, потому что кроме действительной красоты у нее не было никаких надежд на лучшую жизнь.

Изнурительная работа, четырнадцать часов, проводимых за тряпьем и иглой, убивали в ней все желания, свойственные юности. Впрочем, та же суровость замечалась и во всей Франции, непосильно, в раздирающей нищете трудящейся для того, чтобы король, королева и принцы и весь двор в Версале проводили время в непрерывных празднествах — балеты, фейерверки, балы, блестящие охоты на вытопанных хлебных полях, по ночам фантастические сражения за картонными столами при свете сотен восковых свечей. Всем этим они заглушали в себе ужас неминуемо близившейся гибели: казна была пуста, страна нищала, дворянство разорялось, парижский народ рычал вслед грохочущим золоченым каретам, буржуа с восторгом раскупали дерзкие памфлеты на королеву, на развратную жизнь двора. Богатели одни ловкие предприниматели, ростовщики.

На шпалерную фабрику поступил заказ из канцелярии королевского кабинета — выткать портрет королевы по оригинальному портрету, приложенному при сем, работы великого Буше.

В то время королева была по уши в хлопотах на деревенской игрушечной ферме, в версальском парке. Королеве приходилось самой доить корову с позолоченными рогами и надущенную пачулей, самой стряпать омлет с шампиньонами, ловить удочкой китайских рыбок на обед, между делом танцовать

с дамами на берегу ручья пастушеские танцы. Среди этих забот Буше удалось лишь мимолетом зарисовать королеву, и то только лицо. Платье он написал от себя, цвета сливок, во вкусе времени, и был не совсем доволен рисунком.

Этот картон поступил к Елизавете Рох, и она начала копировать с него макет для гобелена. Стояли жаркие дни, работать приходилось то ползая по полу, то взбегая на лесенку, чтобы изглядывать на работу с высоты; на Елизавете было платье, открывавшее грудь и до колен ее стройные ноги.

Такой увидел ее директор фабрики, разорившийся дворянин, тучный и неряшливый мужчина, несмотря на свои годы чрезвычайно чувствительный к женской прелести.

Расставив икры в плохо натянутых чулках, он страшно округлил глаза. Пот из-под паричка полз по его бритым щекам. В этот знойный день, когда мухи звенели о пыльные стекла мастерской, он заметил, что девчонка вкусна, как наливное яблоко. Он присел около мольберта и вытащил табакерку, сыпя табаком на кружева. Подагрические глаза его выпячивались. Елизавета, думая только о работе, ползала на коленях у его ног, то протягивая руку, чтобы взять ножницы, то низко нагибаясь, чтобы откусить нитку. Директор переживал наслаждение,— прелесть девчонки ударяла ему в раздутые ноздри. Когда она досадливо выпрямилась и закинула голые руки, чтобы сколоть лезушке в глаза пушистые волосы,— он внезапно почувствовал что-то вроде удара, готового разорвать кровеносные сосуды, и чтобы поскорее освободиться от волнения,— тяжело со стула урал на Елизавету, обхватил ее и принялся целовать в лицо, в шею и в грудь.

Она громко вскрикнула, так как в первый раз ее коснулась рука мужчины. Она вскочила, начала бороться и, освободив правую руку, хлестнула директора по щеке. Дальнейшее происходило в молчании, если не считать нескольких тяжелых ударов директорского кулака и слабого стопа девушки.

Когда за хлопнувшей дверью затихли шаркающие шаги, в мастерскую вошли женщины. Они увидели Елизавету в изорванном платье, лежавшую без сознания на макете. Платье королевы, цвета сливок, было залито кровью. У Елизаветы было разбито лицо. Ее унесли. В тот же день контора вышвырнула ее с фабрики.

Происшествие не заслуживало как-будто бы внимания, но когда Буше увидел испорченный макет,— он пришел в ярость: кончик вздернутого носа его вспыхнул под пудрой, он наговорил кучу дерзостей по адресу распорядителей фабрики, затем взглянул еще раз, прищурился и щелкнул пальцами. Напоминаю: он не был удовлетворен своим картоном, и вот ему пришла на мысль использовать этот цвет пятен крови. Он выбрал подходящий барвовый шелк и велел им заменить на макете платье королевы.

— Очаровательно,— сказал он и послал макет в ткацкую мастерскую к старому Роху.

Так я появилась на свет.

Старый Рох день и ночь ткал меня. Часто горькие слезы ползли по его морщинам, но что доподлинно стало в дальнейшем с Елизаветой — я не знаю. Он начал ткать меня с головы, и долгие месяцы я лежала в его станке перевернутая. Его торопили, и он работал с молчаливым ожесточением.

Наконец, я была готова. Буше имел счастье сам поднести меня королеве. При дворе знали мою историю, и он, оправданная красное платье гобелена, сказал, что это цвет девственности. Это был каламбур во вкусе времени, и королева воздушно улыбнулась ему.

Гобелен повесили в королевской спальне, в Трианоне,— одноэтажном маленьком дворце, служившем для любовных развлечений королевской семьи. Несомненно, была доля правды в том, что писали в памфлетах. Королева была легкомысленна. Красота ее увядала. Король не часто посещал ее спальню. Да и то, появляясь в китайском халате, в туфлях, тучный, мягкий, с двойным подбородком, он больше разговаривал не о тонкостях любви, а об удачном выстреле на охоте, или о своих достижениях в токарном мастерстве. После его бесплодного ухода королева приказывала подать венецианское зеркало и, лежа вся в кружевах, все еще соблазнительная при свете свечей, с некоторым изумлением глядявалась в свое изображение, затем нижняя губа ее, неременная принадлежность Габсбургского дома, начинала выпячиваться, и тут-то веселые дамы,

окужавшие ее широкую кровать, придумывали какую-нибудь ночную затею, после которой королева крепко засыпала.

Утро в Версале всегда начиналось праздником. Гремели резные колеса под'езжавших карет, гудели веселые голоса. Дамы, похожие на живые цветы в пышных юбках, благоухающие амброй и пачулей, толпились в спальне королевы, щепеча по птички, или соблазнительно мелькали сквозь деревья в парке. Журчали, шумели фонтаны, лебеди били крыльями, золоченые лодочки покачивались на поверхности искусственного озера.

Развалины в греческом вкусе, мраморные торсы с игрой солнечных зайчиков уносили пустое воображение в аркадские страны.



... юноша сорвал меня со стены и швырнул на толстую постель

Женственные кавалеры, отбивавшие духами крепость естественного запаха, ходили больше на существах из идеального мира, чем на дворян с заложными и перезаложными замками и протянутой за королевским подаянием рукой.

Природа была щедра к этой выдуманной жизни. На лужайках пахло горячим сеном, толклись пестрые бабочки, летние облака отражались в озере, и даже ветерки, казалось, с учтивостью шелестели деревьями. Дни летели за днями, легкомысленные и ослепительные. Королева гнала прочь от себя мрачные мысли, король, вытаскивая на станке черепаховые табакерки, думая, что все, в конце-концов, образуется: памфлетистов посадят в Бастилию, казначейство откуда-нибудь добудет денег, добрые буржуа опять полюбят своего короля, добрые поселяне перестанут огорчаться из-за налогов, а там, бог даст, и повоевать можно будет удачно...

Известно, чем кончилось все это беззаботное веселье в Версале. Свиристая красавица со сросшимися бровями в красном платье, в красной шляпе с красными перьями, куртизанка Териев де Меркур, верхом на лошади, размахивая кривой саблей, а за ней тысяча тридцать женщин из парижских предместий пришли по версальской дороге, завывая: «Хлеба, хлеба, хлеба»... Король улыбался им с балкона, королева старалась

улыбнуться, держа на коленях наследника, но их посадили в карету и отвезли в Париж.

Всем было уже не до смеха.

Теперь лишь осенний дождь постукивал в высокие окна Триано-на. Парк облетел, и груды листьев, неубранные, гнили на дорожках. Сквозь оголенные ветви бесстыдно белели античные божества. Надвинулись зимние туманы, и только шаги сторожа нарушали безмолвие покинутого дома.

С первыми весенними днями появились гуляющие; они с любопытством оглядывали причуды королевского парка. Мужчины были в некрасивой, темной, суконной одежде, без париков, женщины — в скромных косынках и простых юбках из шерстяной материи. Они несли корзинки с провизией и вели за руку детей. Рассаживаясь прямо на траве, они завтракали, оставляя после себя засаленные ключья памфлетов, куда завертывалась еда. Благопристойные буржуазки стыдливо отводили глаза от голых статуй и шумно охали, осматривая через окна пышную кровать королевы. Заслонившись сбоку ладонями, сплотив нос о стекло, они злобно глядели мне в лицо, иногда грозя зонтиком...

Миновало лето. Зимняя буря выбила несколько стекол. И снова в апреле забегали черные дрозды под кустами. Дорожки парка зарастали лопухами, затягивались ряской бассейны с замолкшими фонтанами. Коровы, бродя на свободе, клали лепешки у подножия статуй. В праздники все более появлялось народу, но теперь уже не чинные буржуа, а какие-то неведомые молодые люди в длинных, по щиколотку, штанах, с голой грудью и засученными рукавами и их подружки, румяные и смешливые, кое-как прикрытые ситцевыми платишками, веселились как дети, утомясь, засыпали на копнах сена. Целовались и хохотали, ссорились и мирились. С визгом разбрасывая радуги, кидались с каменных берегов в озеро, и их загорелые тела были не хуже, чем у мраморных богов с отбитыми носами. В сумерках складывали из обломков золоченых лодок, догнивавших за ненадобностью, великолепные костры, и, подобно первобытным существам, отплясывали, озаренные пламенем, карманьолу.

Однажды у моего окна остановились двое: плечистый юноша с темным пушком на щеках и молодая женщина; оба были босы. Он влюбленно держал ее рукой за плечи, едва прикрытые лохмотьями. Она была прекрасна — пышноволосяя, стройная, сильная. Она что-то сказала, юноша рванул за скобу, гнилая рама окна двери затрещала, посыпались стекла. Они вошли. И в нищей я признала Елизавету Рох. Она долго смотрела на меня, поднялась на ципочки и плюнула мне в лицо. Тотчас же юноша сорвал меня со стены и швырнул на голую постель.

Так я валялась среди запустения, куда почтенный буржуа, колбасник из Парижа, подобрал меня, как хозяйственную вещь. Он приехал в Версаль в надежде поживиться какой-нибудь ключей со сломанной ногой. Я была аккуратно сложена и сунута под козлы, хозяин уселся на меня; сзади, прикрытая рогожей, лежала освеженная лошадь. В таком виде я прибыла в Париж.

Мной занавесили разбитое пулями окошко в колбасной лавке.

И там, на площади Революции, я еще раз, в последний раз, увидела королеву, но при каких жалких обстоятельствах...

Полтора года прошло с того дня. Было бы утомительно рассказывать о всех превратностях судьбы, кидавшей меня из рук в руки. Когда над ратушей в один мгlistый ветряный день плеснуло черное знамя Коммуны, колбасника моего повесили на дверях лавки, нацепив на грудь доску: «Мы требуем твердых цен».. Чья-то закопченная порохом рука сорвала меня с окна и я оказалась в виде плаща на голых плечах рослого детины, потрясавшего копьём с красным колпаком на острие.

Весь день в виде пылающего пламени, под свист пуль, я развевалась на его плечах. Когда настала ночь, он пошел к ратуше, озаренной внизу факелами, тогда как острые башенки ее тонули в тумане.

Вместе с толпой, размахивающей саблями и пистолетами, мы ввалились в дымный от чада масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках, сидели, непрерывно заседая, члены Парижской Коммуны с темными от бессоницы лицами. Рабочие и ремесленники из секций требовали у них голов аристократов и буржуа — они рычали: «Разогнать Конвент. Смерть предателям. Вся власть Коммуне. Хлеба и предельных цен»... Мой хозяин пристроился спать тут же в зале, под окном, завернувшись в меня с головой.

Алексей Толстой.

(О. окончание в след. номере)

НА ПОКОСЕ

С УТРА у речки, на лугу
Запели, зазвенели косы.

С утра над лугом — звон и гул,
И солнца золотая россыпь.

ОТ РЕЧКИ до седых холмов,
Где мирно разбрелось стадо,
Размеренная цепь косцов
Прокладывает ряд за рядом.

КОГДА дошли до ручейка,
Вожак, детина бородастый,
По цепи передал приказ:
— А ну, закручивай, ребята.

У РУЧЕЙКА — «мирской» кисет
И общее для всех точило.
Присели кучкой на росе —
Заговорили, задымили.

И СНОВА выстроились в ряд,
Держа окосья наготове,
И по команде главаря
Десятки кос запели снова.

Август Пришелец.

ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕЛОДИИ

ОБЛАКА
большими кольцами
разбросали
белый дым,—
голосами-колокольцами
за воротами
звеним.

Ой,
резвитесь вьюжно,
волосы.
Увлекли вы
паренька.
Я не зря
С отцом боролся
За хорошего дружка.

ЕСЛИ
о любви калякаем,
в сердце нет
беды-тоски:
зацветают щеки маками,
а в глазах-то
васильки.

ПРОСКАКАЛО
время
лютое,—
наша молодость
ярка.
В хороводе
революции
дружною крепка рука.

ПОЛЮБИЛА
не напрасно я
все невзгоды
нипочем,
не емуль косынка красная
пламя сыплет
на плечо?

В САРАФАНЕ
пышной
павою
нежной ласки я полна,
мне
поклоны бьет
забавою
себебриястая луна.

Г. Миленская.

ИГОЛКИ

У ПОРНО и недоверчиво разглядывая себя в зеркале, Лиза — конторщица текстильного треста — мечтала. Если бы мечтала она, как тысячи и тысячи ей подобных девушек, то не стоило бы нам рассказывать об этом ее занятии. Она была счастлива безмерно, и, конечно, не верила своему счастью. Глядела на свое свежее лицо и спрашивала свое отражение.

— Тебе? Нет, это не может быть. Тебе? Оно так велико и так красиво это ее счастье, что, думая о нем, девушка видела перед собой голубую лестницу, уходящую куда-то за облака, к звездам.

Может быть потому так представляла Лиза свое будущее, что она любила романы, а в одном из них — романсе Вертинского — есть слова о «чудесной песенке» и о девушке, восходящей за руку с богом



... Разглядывая себя в зеркале, Лиза мечтала.

уж коснется Лизы: спросит о ее здоровье, узнает, любит ли она цветную капусту и моченые яблоки, или скажет, вздохнув:

— А вы, Елизавета Николаевна похудели, если не обидетесь на меня.

— Что вы, — совершенно искренно удивится Лиза. — Мне все говорят, что я поправляюсь.

Матвей Федорович даже остановится, точно ему сделалось страшно. — Честное слово вы похудели. И я вам советую, Елизавета Николаевна, пить натощак морковный сок. Поразительно как помогает.

Посудите сами — какие же в жизни романы? Лиза очень рассердится, прикусит упрямую, чуть подведенную нижнюю губку. «Морковный сок»... Идиот. Он бы посоветовал еще кашторку принимать.

Впрочем Матвей Федорович с его рассказами и заботами, и трест с Матвеем Федоровичем, и мамашин дом на Часовенной — Лизинно приданое — все, все это прочь. Все это скоро позабудется, как скучные приключения длинного пути, когда путешественники, страшну пыль с одежды, входят в веселые солнечные края.

Еще неделя, и в воскресенье в 10 часов 50 минут вечера Лиза поедет в Москву. Вот в шкапулке адрес, вот все письма и вот последнее письмо... В комнате тепло и тихо. Мать ушла. Лиза отошла от зеркала, пробежала по комнате, села на свою постель, схватила маленькую подушку, прижала ее к груди и засмеялась.

Смех ее медленно погас. Она посмотрела на малиновый абажур электрической лампочки. Потом закрыла глаза и пошла играть под

весками зеленые круги, малиновые треугольники, стрелки маленькие, как иголки.

— Ишь, какие иголки, — подумала Лиза, — а ведь мама права. Иголка могла бы испортить все.

Она сегодня штопала какое-то матушкино старье и, задумавшись, держала иголку в зубах. Мать увидела, заворчала сердито:

— Лиза, не держи иголку в зубах... Можно нечаянно проглотить и мучайся тогда с тобой.

Пустык... Иголка. А как застряла бы в горле? Лиза повела плечами. Бросила подушку, медленно и картинно ступая по полу, подошла к столу, взялась за край скатерти, шопотом спросила неизвестно кого:

— Итак, госпожа Загревская, вы желаете?.. Поморщилась. Персбила сама себя уже громко:

— Нет... не так. Она посмотрела в потолок, и, кажется, не видела ни потолка, ни таракана, устремившегося по старым обоям.

— Госпожа... товарищ... — улыбнулась. Лиза улыбкой спящего человека — может быть, маэстро Загрев...

Лиза отмахивалась от кого то, отошла и, поклонившись столу, проинесла.

— Елизавета Николаевна, вы желаете сниматься в роли графини? Еще раз поклонившись и поцеловав свою руку, Лиза легко отпрыгнула к кровати, играя костяным ожерельем склонила голову набок.

— Ах, видите ли, я устала, но если к Крыму — я согласна.

Она пронесла это очень пискливо, больше через нос, и в это время играла боками. Так, казалось ей, будет она разговаривать с кино-режиссером, когда станет кино-звездой Загревской. И снова шагнула на прежнее место. Согнулась, наклонила голову.

— Пожалуйста, пожалуйста — прошептала она. — Прикажете вам выдать аванс?

Остановившись на том же месте, Лиза зевнула и почти пропела:

— Нет... а, впрочем, да.

— Сколько прикажете? — прошептала она заискивающе.

— Сколько... сколько? Право, не...

В этот момент скринула дверь. В комнату вошла мать.

— С кем это ты, Лиза, — спросила она, отряхивая шаль.

— Ни с кем, — сердито ответила дочь. Закусив нижнюю губу, она пошла в другую комнату.

Старуха рассуждала сама с собой:

— Как же можно разговаривать ни с кем. Ни с кем не разговаривают добрые люди...

Это счастье, которое бросало девушку в мрак страшных и радостных переживаний, пришло и захватило ее, как буря хватает неосторожную козичку, кружит, мучает до беспамятства.

Однажды на углу Комсомольской улицы и Кладбищенского переулка к Лизе подошел незнакомый человек. Одет он был в дорогое модное пальто с бобровым воротником, курял длинную трубку, и гал, покуривая, стал против Лизы, бесцеремонно оглядел ее через свои большие очки, потом, улынувшись, сказал:

— Я вас смутил? Не правда ли?

Голос у него был хриплый.

— Я режиссер, — продолжал он, и назвал известное имя. — Давайте познакомимся. Для картины, часть которой я снимаю в этом городе... он еще раз сбоку посмотрел в лицо Лизы, — мне нужны вы.

Лизе сразу стало и весело, и испуганно, и радостно, и грустно. Она хотела рассмеяться, но это у нее не вышло. Она покраснела. Из под шляпки у нее выпростались волосы и светлой прядью спустились по щеке. Знаменитый режиссер улыбнулся. Повторил:

— Да, именно, вы.

Лиза хотела ему сказать не то, что сказала. Что-то не то. А прошептала так:

— Но я боюсь. Я боюсь.

Режиссер, очевидно, не раз вел подобные разговоры. Он ни разу не пробовал разубеждать ее. Очень коротко рассказал о том, что она будет делать, сообщил о вознаграждении, узнал где служит, и, вяло пожмив руку, сказал, что он все устроит, ее на две недели пустят.

И хоть удивительным человеком оказался Лизе знаменитый режиссер, чем-то заставивший ее согласиться, но она к концу дня решила, что «он валял дурака» и ничего этого не будет.

Однако, на другой день Матвей Федорович подошел к ней и, миме улыбаясь, протянул ей руку. Он ничего не сказал. Подал ей записку с адресом. Понизе адреса его тонким почерком было написано:

«Очень рад за вас. Вы отпущены на 15 суток. Я никому не говорю ни избежания сплетен».

Лиза, читая приписку, подумала:

— А хороший, все-таки, человек Матвей Федорович.

В тот же день она явилась по адресу в большой особняк на краю города, где был недавно детский дом, а теперь работала кино-экспедиция... Ей нужно было изображать самое себя, то-есть простую конторщицу треста в большой какой-то картине, о содержании которой Лизе никто не рассказывал.

Ее учил в пустой угловой комнате человек с лицом обезьяны — иностранец. Учил грубо, сердито. Когда он схватил ее за руку и другой рукой — своей желтой ладонью — ударил по груди, Лиза вознегодовала:

— Довольно, — крикнула она. — Что я, кукла? Идите вы к черту с этими эластичными движениями.

И потом долго упиралась. Иностранец говорил, что знаменитых артистов не так еще учат, что будто бы Дуглас Фербенкс ходит на репетиции с бичом, каким бьют цирковых лошадей.

Лиза оделась молча, и ушла бы, если бы не встретился режиссер. Он вернул ее, выслушал. Засмеялся ласково:

— Упрямец.

И на другой день Лиза уже ходила перед аппаратом, переносила папки от стола к столу. Этой сценой руководил тот же иностранец и хвалил Лизу.

— О, о, — кричал он. — Немного голова лево. О, о Прекрасно!

Лизе нужно было пройти двадцать пять эпизодов, почти везде вторым планом, или в массовых сценах. В одном лишь месте картины она должна была сниматься в саду одна — прогуливаясь, уронить сумку и неожиданно найти в снегу пачку денег.

Этот момент картины с ней репетировал сам режиссер. Он молча наблюдал с'емку. Когда девушка схватила деньги и бросила поднятую сумку, чему не учил ее режиссер, и что вышло лучше того, чему он учил, когда она прыгнула, прижимая к груди бумажки, оператор тихо сказал режиссеру:

— Способное дитя.

Режиссер промолчал, а Лизе стал приказывать:

— Побежала... быстрее... остановилась. Теперь вернитесь и подымите сумку... Так... Молодец, — заключил он.

У Лизы глаза стали влажные. Необыкновенные, волнующие и незабываемые минуты пережила она. По дороге в особняк, едучи на автомобиле, с ней заговорил оператор. Он поглядывал на нее своими маленькими острыми глазами. Глаза у него серые, меняющиеся — то злые и насмешливые, то смеющиеся, ребячьи. Такими смеющимися глазами он всматривался в лицо Лизы; между анекдотами из своей кино-практики он осторожно выпрашивал Лизу — замужем ли она, есть ли родители и кто они, какое образование? В сумерки он догнал Лизу у ворот особняка, пригласил идти вместе обедать. Она согласилась и пила с ним вино, ела какие-то салаты и жареный миндаль опять с вином. Оператор, как казалось Лизе, очень остроумно и тонко рассказывал ей о кино-артистах. Оказывается, он знал американских, немецких, французских и еще каких-то знаменитостей. Об'ехал пол-мира. Знает пять языков. Участвовал в с'емке «Атлантиды». И в конце обеда, за кофе, он предложил ехать кататься.

Они поехали мимо того сада, где снималась Лиза. Поддерживая Лизу своей рукой за талию, оператор говорил:

— Знаете, я не знаю, как вы примете это, но я думаю, что вы человек одаренный.

Лизе не нравилось, что он обнял ее. Не нравились его руки за обедом. Кисть тонкая и рука большая с длинными пальцами, которые не берут вещь, а тянут ее к себе и минут. Но это ей очевидно показалось. Он ласково и тихо говорил ей такие слова, от которых ей становилось тепло и бодро. Маленькая конторщица текстильного треста, девятнадцатилетняя девушка, у которой было впереди скучное семейное сожительство с Матвеем Федоровичем, как музыку, слушала слова оператора.

А он говорил, вкрадчивым шопотом:

— В вас что-то заложено, милая. Оно, конечно, дремлет в вас, как дремлет жизнь в этом поле под снегом. Снег растает и поле зацветет, запоет, зазвенит... Вы, конечно, можете мне не верить, но я как друг говорю вам — нужно учиться, нужно в Москву. Я вам помогу. У меня...

И вот за это-то и целовала потом Лиза кинооператора, как никого еще не целовала. Ее счастье нарастало, кружило ее до опьянения, до бреда — письма от него, и последнее — с требованием ехать в Москву — с милой припиской: «Полно же бояться проехать 300 верст. Разве не страшнее всю жизнь кистнуть за вашими столами или над шопаньем чулок любимого супруга, а перед припиской — «крепко и радостно обнимаю и целую глаза. Ваш Ирэн».

Да, было, как видите, у Лизы большое человеческое счастье, открывшееся перед ней голубым путем за облака, к звездам.

* * *

И этот путь на каком-то своем невидимом издали изгибе, привел Лизу в московскую больницу, что на Ходынке. Ее привезли ночью, неизвестно откуда, в автомобиле скорой помощи, и сдали в хирургическое отделение. Дежурный врач позвонил профессору на квартиру и сообщил:

— Сюда доставлена девушка, проглотившая пачку иголок с целью отравления. Очень странная... зайдите.

Лизу уложили на крайнюю койку. Она легла навзничь, молча. Не стонала. Не двигалась. Глаза ее сухие с красными веками смотрели куда-то за лампу, губы были сжаты строго, правильно, как у мертвеца. Служанка, передевавшая ее, не сумела навести ее на разговор, и сестра также не услышала ни одного ответа на свои вопросы.

— Немая, что ли, — отвернувшись, сердито сказала она. — Не понимаю.

— С ней родственники есть? — спросил молодой врач, очень заинтересованный таким способом отравления.

— Нет. Из номера или из общежития какого-то привезли, — также сердито ответила сестра.

Врач, с развязностью молодого человека, который уже много постиг, подражая старому профессору, спросил Лизу, взявши ее за подбородок:

— Ты что же молчишь, милая? А?

Лиза смотрела туда за лампу и, казалось, не дышала.

Врач поморщился.

— Но ты меня слышишь?

— Да, — очень тихо ответила Лиза.

— Где у тебя болит? — зачем-то громче обыкновенного спросил врач.

Больная не ответила. Она ничего не ответила врачу в течение десяти или пятнадцати минут, пока ждали профессора. Больные проснулись. Заглядывали с кроватей в лицо девушки. Шептались:

— Какая красивая.

— И молодая.

— Иголки... прямо страшно.

Также не взглянула на профессора Лиза, и ничего ему не сказала. Он рассердился, кричал, кружился около ее постели своей огромной



— Ее привезли ночью, неизвестно откуда в автомобиле скорой помощи и сдали в хирургическое отделение

— Что-то ужасное с человеком... Молчит.

Когда перевели Лизу в палату, у нее началась агония. Она подавила стон и захрипела. Схватившись за голову руками, закусила губу и, обливаясь, размазала кровь у рта. Потом закашлялась, утерла простыней рот, умокла, и вдруг вскрикнула и подскочила на кровати.

Профессор наблюдал за девушкой, покуривая папиросу. Врач ходил у дверей и, вздыхая, повторял:

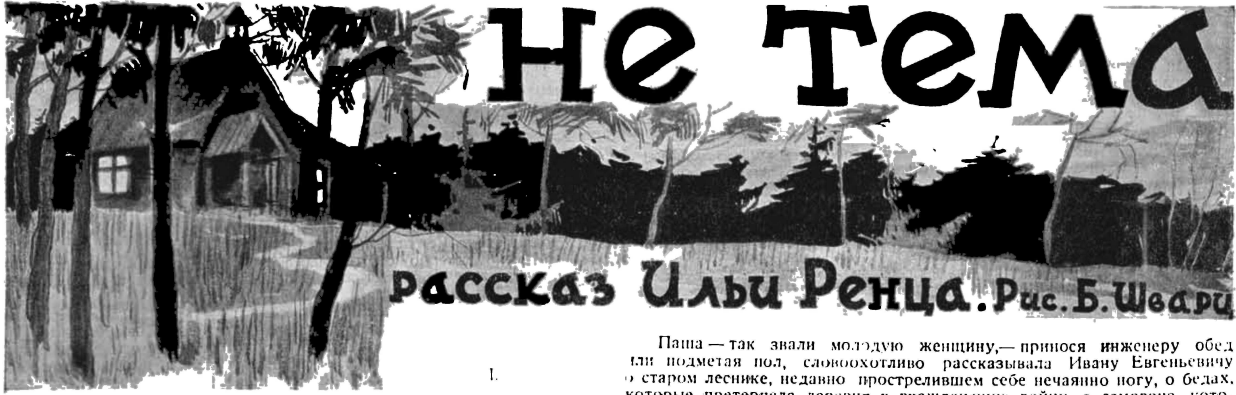
— Где резать? Где искать?

— Слушай, дочка, — прошептал профессор, наклонившись к лицу Лизы, — не надо мне ничего говорить. Ты покажи только рукой, где больно... Ну?. Скорее... Ну?

Лиза подняла руку и профессор отодвинулся, чтобы не помешать ей, — подняла и схватилась за железный прут кровати с криком. Слезы осыпали по ее щекам и смешивались с кровавыми струйками у рта. Она дышала с хрипом...

Светало. Больные белыми призраками сидели на своих кроватях. Погасло электричество и сию же минуту загорелось. В палату принесли носилки. Профессор устал вышел. За ним понесли Лизу. Молодой врач, идя рядом с Лизой, засучивал рукава. В операционной койке тихо хохотал

Н. Федорова.



НЕ ТЕМА

рассказ Ильи Ренца. Рис. Б. Шварц



ИВАН Евгений Тасин, молодой инженер сахарного завода, получил, наконец, месячный отпуск и в среду собрался уезжать.

Накануне этого дня он был в гостях у старшего механика, рыжеусого под лепопатого Скворцова, старого холостяка, любившего поговорить «по вопросу». Так называл он все, что касалось женщины, брака, любви...

— Значит, в дачную местность, вроде как на курорт? — спрашивал механик Тасина, угощая его своего изготовления наливкой «Ультиматум». Он давал своим наливкам модные, по преимуществу с политическим оттенком, названия.

Инженер, зная, что Скворцов никогда не ползает ася полагающимся ему отпуском никуда уже много лет не отлучался и, сроднившись с заводом, отдавал всю не-житую страсть свою только за подоконным корпусам и машинам, ласково улыбнулся и пояснил:

— Дача и курорт — это, Василий Васильевич, вовсе не одно и то же. На даче, в лесу, среди природы должен иногда отдохнуть самый здоровый, но заработавшийся человек. А на курорты ездят больные, чтобы лечиться, или богатые бездельники, чтобы ухаживать за дамами.

— Вот, вот, вот, — скоррговоркой повторил плохо усвоивший разницу механик, — именно ухаживать за дамочками. Уверен, что без этого не обойдется.

— Мне досталась от отца моего, земского врача, крохотная дачка под Киевом, — снова попытался разъяснить Тасин. — Домик в лесу, где ничего, верно, кроме кровати да старых журналов не осталось. Там я и поживу один с несколькими книжками, которые возьму с собой, и никакого материала «по вопросу» к вашему огорчению, Василий Васильевич, вам отсюда не доставлю.

— Доставите, молодой человек, доставите, — знающе махнул рукою старый холостяк. — Не было, верьте мне, случая, чтобы кто, вернувшись из отпуска, мне какой-либо любопытной историйки не привез «по вопросу». У меня их вроде как коллекция. И вы привезете.

— Ну, если будет что-нибудь интересное, расскажу. Обещаю.

Механик на прощание раскупорил еще бутылочку не совсем настоявшейся «Агитации» и приятели расстались.

2.

Лес был смешанный: сосновый и березовый. Смолистый аромат сосны, белые стволы юных берез, утренний гомон птиц — все это радовало и бодрило Ивана Евгеньевича, у которого в этом году было много утомительного и ответственного труда по расширению завода, и он в первые дни наслаждения своим одиночеством и не искал ни людей, ни впечатлений.

Дачка, в три комнаты с кухней, хотя и стояла нежилая, сохранилась, благодаря присмотру лесника Егора, жившего через две просеки от него. Отец Егора, старый лесник Онуфрий, охранявший непроданные участки, когда они принадлежали помещику, владельцу этого леса, знал Ивана Евгеньевича еще мальчиком и брал его, бывало, с собой на охоту.

Теперь старик вернулся в деревню крестьянствовать, а сын его Егор по знакомству с делом отца, был назначен от волостпокома для надзора за свободными участками. Он поселился в той же лесной хатенке, где жил отец, развел небольшой огород, на котором хозяйничал с молодой женой, а для заработка — ему приходилось поддерживать семью брата, убитого на войне — ходил еще на станцию нагружать лесные материалы.

Лесник Онуфрий, уходя на житье в деревню, наказал сыну «смотреть за дачей старого доктора»; с которым вел дружеское знакомство до самой его смерти. Егор честно берег деревянный домик от натиска жадных на топливо соседей и бандитских шаек, проходивших проюю через эти места, так что Иван Евгеньевич, приехав, был даже удивлен сохранностью отцовского имущества среди не мало разоренных дач: умирался и несколько раз предлагал Егору денег.

Егор денег не взял, а инженер, чтобы иметь повод оплатить оказанную услугу, надумал, чтобы жена Егора готовила у себя пищу, приносила ее Тасину и, убирая комнаты, держала в порядке несложное хозяйство его.

На это лесник согласился.

Паша — так звали молодую женщину, — принося инженеру обед или подметая пол, словоохотливо рассказывала Ивану Евгеньевичу о старом леснике, недавно прострелившем себе нечаянно ногу, о бедах, которые претерпела деревня в гражданскую войну, о самогоне, который тайно гонят ее соседи, о себе самой, уже четвертый год бывшей замужем, жаждавшей ребенка и выпившей бесплодие мужа.

— Слабый он, — говорила она — хоть и бревна на себе таскает. Мы с детства знакомы. Отцы наши — давние самарские переселенцы и в одной деревне осели. Я за другого брата сначала хотела идти, а он на Кавказ подался и не взял меня.

— Почему на Кавказ? — попыхивая папироской, спрашивал Тасин, которому нравилась на безлюдьи наивно-открытая речь молодой крестьянки и певуче-голосистый ее говор.

— Потому что вольный дух в нем был после войны. Не хотел в хате сидеть, бродяжить таялся. Старшего брата тоже на войну взяли и убили. А мой смирный. Он и в хате молчит, слова лишнего не скажет.

Иван Евгеньевич, отвечая на пытливые вопросы Паши, тоже рассказывал ей о заводе, о своей службе, о немцах, среди которых провел когда-то год, о миллиардере Форде и его затеях, а Паша слушала, сложив руки под высокой грудью и не сводя своих серых глаз с красивого и ласкового лица инженера.

На четвертый или пятый день по приезде Ивана Евгеньевича, Паша пришла ставить вечерний самовар и, извиняясь за опоздание, сказала, что мужа вызвали на третью станцию выгружать дрова, и ей пришлось снарядить его на ночь едою. Напоив Тасина чаем, она принялась мыть оконные стекла, ссылаясь на то, что завтра уйдет к отцу в деревню.

Инженер сидел с книгой на терраске и сквозь открытую дверь то и дело поглядывал в комнату, где, стоя на табуретке и высоко обнажив крепкие белые руки, молодая женщина протирала стекла. Сильное тело ее казалось певучим и легким. Вокруг томительно пахло сосною, и сумеречно насторожилась тишина.

Иван Евгеньевич отложил книгу и, тихо войдя в комнату, остановился возле Паши. Она нагнулась к ведру с водой, поднялась и, увидев Тасина, на мгновение удивилась, но тотчас же снова приятно улыбнулась.

Инженер с горячностью обнял ее. Она не сопротивлялась.

3.

Дня через два, написав письмо, Иван Евгеньевич направился в почтовое отделение, ютившееся возле дачной платформы.

Когда он раздумчиво брел вдоль вокзальной линии, где стояли самые нарядные дачи, он услышал неожиданный оклик и поднял голову.

— Кажется... Кажется и не ошибаюсь? — взглядывая в него, вопрошал маленький и плотный человек, весь в белом с начисто бритой головой и розово-голым лицом. Даже бровей у него не было, а под мясистыми дугами глаз конфузливо светлели две белесоватые полоски.

Тасин напряженно-остро задумался на мгновение: он где-то видел этого человека.

— Кранец — представился тот, разрешая недоумение инженера. — Обедали с вами у директора. А я вас узнал сразу.



...Инженер с горячностью обнял ее.

Иван Евгеньевич вспомнил: этот «голенький человек» — как он его еще тогда прозвал — приезжал на завод по каким-то посредническим делам от союза киевских кооперативов.

— Вы на почту, — сказал Кранц, увидя письмо в руке инженера, — так я вас провожу.

И он пошел рядом, оживленно болтая, как со старым знакомым.

«Чего ему от меня нужно?» думал про себя Тасин и неприятно морщился под фуражкой: ему показалось, что посредник ждет от него каких-либо выгод или поддержки на заводе, между тем как инженер ведал только технической частью, к коммерческой никакого отношения не имел, а ко всякого рода дельцам, присасывающимся к производству относились презрливо-враждебно.

На почте Тасин получил «до востребования» открытку от своего помощника с завода. Тот в уголку письма сообщал: «Все благополучно». Рядочком, остальное же пространство открытки было занято рисунком, набросанным чернилом от руки: четко возвышались трубы, чудились очертания корпусов и окон, внизу по рельсам узкоколейки катилась вагонетка...

— Узнаете? — спросил, выходя из почтового отделения, инженер и протянул спутнику открытку.

— Ваш завод. Это замечательно, — воскликнул тот. — Несколько линий, и все тут.

— Способный парень, — сказал Иван Евгеньевич и хотел спрятать открытку, но Кранц не выпускал ее из рук.

— Нет, нет, нет, это необходимо показать моей свояченице. Молоденькая девушка, а уже экстра... эмпра... снисходительна. Это у них, у художников, такое название есть. Талант. Вы увидите. Надеюсь, не откажетесь позавтракать у нас? Вон с баншикой... мы снимаем всю дачу.

Тасину снова почудилось, что Кранцу что-то нужно от него, но он сразу не сумел придумать предлог для удобного отказа, пробурчал что-то вежливо, принятое Кранцем за согласие.

На веранде дачи сидела в качалке дама в пенсне и издала поучала молоденькую босую служанку, как накрыть на стол. Она поднялась навстречу мужу и гостю, сняла пенсне, и когда муж представил инженера, заулыбалась ему близорукими глазами. Туго-обтягивающее платье неспешно старалось молодить огромный бюст и узкий таз пожилой женщины.

Затем хозяйка ушла, и в комнатах по слышалось суетливое шумушканье. Кранц предложил посмотреть цветник. Гуляя, рис сказал, что он бездетен, но держит у себя — так он выразился — двух своячениц. Одна сестра жены — вдовушка. Во время войны была сестрой милосердия и вышла замуж за артиллерийского полковника. Во время Врангеля он погиб в Крыму. Младшая свояченица учится в Кисеве.

— Талант, — повторил Кранц. — Учится сразу: на шаннистку и на художницу. О-о-о.

При этих словах так лоснилось розовое его лицо и из под безбровых дуг пучились глазки, что Ивану Евгеньевичу невольно подумалось: **ка он к младшей неравнодушен!**

Голос хозяйки позвал к завтраку. Солнечные зайчики играли на белоснежной скатерти и на хрустальных гранях винных графинов. Вышли две свояченицы, и после знакомства все сели за стол. Гостя посадили между хозяйкой и старшей свояченицей. Это была худая, почти костлявая женщина, похожая на некрасивых, но изящных французенок. Ее прозрачное платье было к тому же испещрено дразнящими вырезами и доходило едва до колен. Вдовушка сразу наполнила две большие рюмки — свою и гостя — и, составившись на то, что остальные «погрязли в трезвости», чокнулась с ним.

Младшая, стриженная, с пухлыми руками, сидела против Тасина и без особого любопытства рассматривала его. Кранц не сводил с юной свояченицы сладко-восторженных глаз.

— Позвал меня, чтобы спихнуть с плеч вдовушку, — догадался вдруг инженер. — Но это не пройдет, милый хозяин, — усмехнулся он про себя и почувствовал в это время на своей руке горячую женскую руку.

— О чем же вы задумались, — смеялась вдовушка. — Я ведь жду вас со второй рюмкой.

4.

Когда Иван Евгеньевич, несколько охмелевший, вернулся домой, Паша, сидевшая на ступеньках крыльца, обрадованно поднялась ему навстречу.

— А я в какой раз к вам с обедом, — улыбочиво сказала она, укаывая на судки. — Может, сходить еще: разогреть борщок-то?

— Я так позавтракал, Паша, что обедать не буду, — ответил инженер. — Сделай-ка мне лучше темноту, чтобы мухи не кусали, — добавил он и, осоловело плонхнувшись на диван, закрыл глаза.

Мягко ступая босыми ногами, Паша выгнала полотенцем мух и прикрыла ставни. Потом, стоя у дверей, чтобы уходить, обернулась к тяжело дышавшему Тасину и жалующе спросила:

— Больше ничего не надо?

— Надо, надо, надо, — приоткрывая слипающиеся веки, проговорил инженер и пальцем поманил к себе Пашу.

Вло протянув руку, Тасин обнял молодую женщину и притянул к себе.

— Миленькой, миленькой, — повторяла она и шершавой рукой гладила его, как дитя, у подбородка.

Инженер тотчас же заснул, а она долго и недвижно сидела еще подле него и глядела на него умилненно.

Были уже поздние сумерки, когда резкий стук в окно разбудил Тасина, и он, вскочив, выглянул в шель приоткрытой ставни.

У окна стоял Кранц со свояченицами. У него было такое же удивленное выражение лица, как у Тасина, когда Тасин, приведя себя в порядок, вышел на террасу и пригласил гостей в дом.

— Нет, мы пришли вас в лес звать гулять, — пояснил Кранц. — Жена нас до ужина прогнала и велела позвать вас к нам ужинать.

Отправились в лес. Ивану Евгеньевичу больше нравилась младшая сестра. Ее небольшая, но ладно-скроенная фигурка, мальчишески обнаженный затылок, полудетский лукаво-понимающий взгляд побуждали

инженера завладеть вниманием Нелли — так звали ее, — поговорить с ней, отделившись от других; но за Нелли не удалось, слегка задыхаясь от ходьбы, следовал неугомонный ее свок, да и девушка не проявляла никакого попользования к легкому флирту. Когда Тасин, переходя канавку, хотел поддержать округленный ее локоток, Нелли сказала: «Благодарю вас» и тотчас же отняла руку.

За то вдовушка сама брала об руку инженера, обдавала его запахом своих острых и пряных духов, смотрела ему глубоко в глаза, когда он говорил даже о самых безразличных вещах, а когда Кранц с девушкой отделились, заговорщицки шептала:

— Нелка хитрая. Он обещал ей отправить ее в Париж, и ей больше ничего и никого теперь не надо. Вы на нее не заглядывайтесь, ухаживайте за мной.

И, вдруг, свернув на боковую, ушедшую в темь тропинку, вдовушка остановилась и, подняв глаза вровень с глазами Ивана Евгеньевича, спросила:

— Подписано?

— И пропечатано, — тихо ответил инженер, туманясь пьянящим ароматом духов. И, быстро обняв, поцеловал вдовушку в губы.

Однажды, уже к концу продленного инженеру отпуска, взамен Паша, еду принес Ивану Евгеньевичу Егор.

Поставив судки на стол, он неловко покрывал, косо оглянувшись по углам, и сказал:

— Паша недужная стала. Я буду носить и убирать.

Тасин не стал расспрашивать. Несколько раз поглядел на неуклюже подметавшего пол Егора, и с неприятным чувством поймал себя на робости: словно он этого угрюмого мужичка боялся.

В этот вечер на даче у Кранца было назначено торжество по случаю дня рождения его жены. На торжество сошлись дачники с семьями, приехали гости из города, и веселились шумно и пьяно. Расходились, когда начало уже светать, и вдовушка, улизнув от других гостей, проводила Тасина до самой его дачи. Весь дорогу она по обыкновению дразнила молодого инженера своими смелыми прикосновениями; когда же он, понукаемый хмелем и близостью женщины, поспешив схватывал и привлекал к себе, вдовушка ловким движением ускользала от него и, поманивая издала тонким пальчиком, шутивым шопотом объявляла:

— Только после свадьбы.

Возле дачной калитки она длительным поцелуем впилась в губы инженера и, слегка ударив его по ищущим рукам, исчезла среди розовеющих под рассветом берез.

5.

Поздним утром Иван Евгеньевич проснулся, почувствовав чье-то присутствие в комнате. Действительно, на табуретке, вытянув на коленях руки, сидела с закрытыми глазами Паша. Вслед за Тасиным открыла глаза и она, смутилась и, поднимаясь, улыбнулась несмело:

— Я давно тут сижу: как муж в деревню ушел. Только он скоро вернется. Нельзя мне.

— Что случилось? — зевая, спросил инженер и, видя что Паша ждет обычного призыва его, нехотя добавил: — Поди же сюда.

Она подошла, доверчиво опустилась на краешек кушетки, где он лежал и доверчиво взяла его руку. Горячей ладонью сжимала его пальцы и говорила:

— Муж побил, потому как я тяжелая стала.

Иван Евгеньевич сначала не понял, но тотчас же сообразил, о чем она говорит, и поднялся на локте:

— Почему ты думаешь... это?

— Знаю, — отвернув голову, промолвила женщина. — А ему бабка сказала, порадовала его.

— За что же муж прибил? Ребенок, может, от него



Они все отправились в лес.